⋘

Ю.Ф.КАРЯКИН

Антикоммунизм, Достоевский и «достоевщина»

<Фрагменты>

Когда же пресечется рознь и соберется ли когда-нибудь человек вместе.

Ф. М. Достоевский

Коммунизм — «решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».

К. Маркс

...Идут острые споры <...> между представителями противоположных мировоззрений. О целях и средствах борьбы. О культе личности. О том, каким будет грядущее и будет ли оно. О кризисе христианства... И при этом нередко раздается: «А помните у Достоевского?..».

Часто происходит и обратный переход — от спора о Достоевском к этим общим вопросам. Из всех писателей прошлого этот национальный, «насквозь» русский художник оказался сегодня едва ли не самым всесветным и живучим. Его влияние по-своему испытали самые разные люди, как Эйнштейн и Бердяев, Т. Манн и Ортега-и-Гассет, Бёлль и Леонов, Феллини и Арагон, Сартр и Стейнбек. Библиографы знают, как трудно подсчитать международный тираж книг Достоевского и число работ о нем. Но, может быть, этот факт имеет большее значение для идеологов и политиков, ибо он означает, что Достоевский так или иначе участвует в формировании мировоззрения многих наших современников.

Антикоммунисты объявили своего рода монополию на Достоевского*. Уверяют, что его гуманизм (и гуманизм вообще) абсолютно несовместим с коммунистическими идеалами. Стремятся сбить с пути тех людей, для которых интерес к Достоевскому — одна из форм исканий социальной истины и которые уже начали рвать с буржуазными воззрениями, но еще боятся (а в сущности и не знают) воззрений комму-

^{*} К вопросу о «монополии»: в СССР произведения Достоевского вышли тиражом около 11 млн экземпляров.

Ю. Ф. КАРЯКИН

нистических. Находясь под тягостным впечатлением культа личности, такие люди полагают, что культ тот коренится в природе коммунизма. Они серьезно, трагически заблуждаются, но многие из них могут быть и будут нашими союзниками и сторонниками. Но будут не иначе, как в итоге полемики. Наши оппоненты любят произвести залп из неотразимых, по их мнению, высказываний писателя в адрес революционеров, а потом победно воскликнуть: «А разве это не подтвердилось?!» Думается, однако, что спор надо начинать с другого.

1. «Буржуазность» — главный «бес»

Сторонником социализма (утопического) Достоевский бывал, но защитником буржуазии — никогда. Он не раз признавал, что молодежь (а к такой молодёжи относился в свое время и он сам) «беззаветно», «с неподдельной любовью к человечеству», «во имя чести, правды и истинной пользы» обращается к идеалам социализма, что ее убеждения зиждятся на «энтузиазме к добру» и «чистоте сердца». Но почему же у молодых героев Достоевского нет такой беззаветности, такого чистого энтузиазма перед идеалами буржуазными?

Как бы ни изменялись взгляды Достоевского, какие бы выпады он ни допускал против непонятого им социализма, никогда он не избирал альтернативный буржуазный строй. Ни разу в жизни он не провозгласил здравицу в честь буржуа, наоборот, не уставал проклинать его, срывал с него маски: «Что такое liberté? Свобода. — Какая свобода? — Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно».

Достоевский предъявляет буржуазии огромный счет ее преступлений. Главное среди них — стремление унизить и оскорбить человека, превратить его в «тряпку», в «клопа», в «червяка», в жертву или палача. Он вдребезги разбивает самодовольство мещанина, выворачивает наизнанку его душу, докапывается до самых низких его помыслов, в которых тот не признается никому, даже себе.

Уже Шекспир был полон тревожных раздумий: «За человека, за человека страшно мне!» Достоевский преисполнен несравненно более кошмарных размышлений, чем Шекспир. Он проникает в мир героя «с ретроградной физиономией», в мир «подпольного человека» *,

^{* «}Подполье» у Достоевского — это образ, символизирующий замкнутую жизнь остервенелого индивидуалиста, человеконенавистника, «своеволие злой мыши».

«мерзавца своей жизни», превращающего в мерзость жизнь других, в мир людей с «волчьим аппетитом». Достоевский пытается художественно исследовать некоторые крайние формы того явления, которое часто называется «отчуждением» человека (и происхождение которого было научно, материалистически объяснено Марксом). <...>

Перед нами раскрывается действительно предел «отчуждения», когда все свойства личности превращаются в свою противоположность, оборачиваются против нее самой, когда человек, существо по природе своей социальное, оказывается в полной духовной изоляции, когда ему «некуда пойти», когда один человек мечтает унизить, уничтожить другого, да и все человечество. По словам одного крупнейшего психиатра, наука — психология и, в частности, психопатология — не раз черпала в произведениях Достоевского открытия, выходящие далеко за пределы того, что можно ожидать от художника. Самое же основное заключается в том, что все те убийцы, все те душевнобольные, которыми полны произведения Достоевского, рисуются им (часто в противоречии с его собственными взглядами) как определенные социальные типы, чья болезнь неотделима от их мировоззрения.

Что такое — их болезненные откровения? Что такое весь этот «подлый визг» (Горький)? Выдумка? Или бред сумасшедших, не заслуживающий изображения в искусстве? Так многим и казалось долгое время. Мало кто мог сто лет назад всерьез представить себе, что «антропофаги» не только не будут изолированы, а попытаются весь мир превратить в бедлам и в камеру пыток.

Разве «Майн кампф» не вариант записок «человека из подполья»? Разве Освенцим не реализация его идеалов? И разве сегодня не зреют новые замыслы «все вдруг взорвать»? Сходство (но не тождество) «антропофагов» Достоевского с человеконенавистниками нашего времени объясняется их социально-психологической преемственностью, их историческим родством. Тот смертоносный микроб, которого художник наблюдал в пробирках, вырвался на волю, распространяя сильнейшие эпидемии зависти и злобы, подлости и жестокости. Но Достоевский не только предупреждал людей о страшной опасности, но и прямо связывал ее с «буржуазностью» (правда, очень своеобразно понимаемой).

Разве это не подтвердилось?

Неискоренимое убеждение в бесчеловечности того общества, где «главный князь — Ротшильд», а деньги — «чеканенная свобода», — вот в чем ключ к пониманию чрезвычайно сложного отношения художника у социализму, революции и атеизму.

Ю. Ф. КАРЯКИН

2. Достоевский и социалистов критикует за... «буржуазность»

Почему он обознался?

Когда спрашиваешь любителей антисоциалистических высказываний Достоевского, а за что он так критикует социализм? — обычно отвечают так: «За отрицание свободы, за нивелировку личности» и т.д. Но главное в том, что у Достоевского есть слово, которое парадоксально выражает всю глубину его понимания (и непонимания) проблемы. Это слово опять «буржуазность»!

С социализмом Достоевский борется не во имя «буржуазности», а во имя борьбы с ней. Этот факт скрывается в буржуазной литературе. Его проглядели те, кто коллекционирует антиреволюционные цитаты писателя, помнит их наизусть, наивно умиляется ими и... не понимает их смысла. Достоевский обвиняет социалистов по тому же самому списку, что и буржуа. Социализм для него не антипод, а вариант «буржуазности». Он обознается. Вот как он рисует капитализм: «одна десятая доля людей должны получить высшее образование, а остальные $^9/_{10}$ должны лишь послужить к тому материалом и средством». А вот картина «социализма»: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми».

Сравним еще два рассуждения. Первое: «...Не надо высших способностей!.. их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями...». Теперь второе: «Мне нравилось ужасно представлять себе существо именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас...» Совпадение идей говорит само за себя. Но в первом случае это идеи «социалиста» («Бесы»), а во втором — героя, мечтающего стать Ротшильдом («Подросток»).

Буквально каждому обвинению в адрес социалистов соответствует такое же обвинение в адрес буржуа. Эта, отмеченная в марксистской литературе, путаница социальных адресов объясняется не только тем, $\kappa a \kappa$ видел Достоевский, но и тем, ιmo он видел.

Чувствуя гигантскую силу инерции — силу собственничества, воплощенную в мещанстве, Достоевский вообще считает ее непреодолимой здесь, на земле: «Кто на бо́льшее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так доселе велось и так всегда будет». Достоевский пишет, что для буржуазного Ваала главное — «миллион, в виде фатума, в виде закона природы». И художник, будучи не в состоянии активно противодействовать этой воле, покоряется ей: ненависть к «буржуазности» перерастает в ужас. Подавленный этими чувствами, Достоевский на всем видит печать дьявола — наживы. Он сближает и отождествляет социализм и капитализм еще и потому, что они в его глазах одинаково безбожны, а для него вопрос о боге — коренной. Вот почему ему страшно за человека и при этом социализме, каким он себе его представлял.

Но он знал лишь мелкобуржуазные формы социализма (причем почти всегда брал в них лишь наихудшее). Основным материалом для его общих суждений о революции была деятельность анархистов. Увидев, что рабочие в той или иной мере заражены буржуазными болезнями, он не понял, что болезни эти излечимы, но лишь в ходе борьбы. «...Работники все в душе собственники... такая уж натура», — полагал Достоевский. В его эпоху отсутствовал победоносный опыт борьбы масс за социализм (особенно в отсталой России). Не удалось — значит, обречено, нет — значит, не будет, рассудил Достоевский. «Буржуазность» оказывается первородным грехом. Эта категория представлялась ему не исторически преходящей, а вечной, неизбежной для всего земного существования.

Отсюда объяснима и оправдана его борьба против «социалистов» — наследников буржуазного закона «всеобщего поядения» — и морали «все позволено», против тех, кто видел в «сечении голов самый простой способ» устроить всеобщее счастье. Объяснимо, но не оправдано то, что таких «социалистов» он выдает за образец социалистов вообще.

«Бесы» и «Поэма о великом инквизиторе»

Наиболее ярко эта мистификация проявилась в романе «Бесы», написанном по горячим следам деятельности Нечаева <...>. «Яд, нож, петля — Революция все равно освящает». Культ своей личности, систему взаимного шпионажа между социалистами, объединенными в отдельные звенья — «пятерки», проскрипционные списки — таковы, по Нечаеву, условия торжества социализма. <...>

Недаром Герцен предрекал, что Нечаев «наделает бед» в России. Его посев пожинает реакция, объявившая имя Нечаева синонимом революционера, социалиста. (Такой поворот дела был изобретен в тайной полиции царизма.) Однако выясняется, что в среде русских и западных революционеров господствует отрицательное отношение к нечаевщине. Но эти факты Достоевского уже мало интересуют. Задумав роман, он сообщает: «Хочется высказать несколько мыслей,

хотя бы погибла при этом моя художественность». Его предвзятость, «подкреплённая» фальсифицированными материалами охранки, и порождает «Бесы». <...>

Совершенно очевидно, что изображать в таком бредовом свете идеалы Парижской коммуны, социализм Чернышевского и Герцена (не говоря уже марксистском коммунизме) — значит повторять грязную клевету. Если уже нечаевщина была карикатурой на социализм, то верховенщина — это карикатурное изображение нечаевщины *. И сам Достоевский подтверждает это. Невольно уважая (да и побаиваясь) настоящих революционеров и социалистов, зная, что ни один из них не распишется ни за Нечаева, ни тем более за Верховенского, он и заставляет последнего признаться: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» **. Но тем самым Достоевский в корне подрубает свою «критику» социализма: выходит, что реально он разоблачает даже не грубо ошибающегося социалиста, а расчетливого мошенника, монстра, настоящего социального подонка.

Не менее чудовищную путаницу Достоевский допускает и в «Поэме о Великом инквизиторе». Здесь рисуется инквизитор, который действует во имя Христа, но считает, что тот — романтик, а не реалист, ибо судит о людях слишком высоко <...>. В итоге выясняется, что инквизитор, молясь богу, уже не верит в него, — «вот и весь его секрет!». Он сам вживается в роль бога.

В образах религиозного символизма Достоевский объективно ставит реальные вопросы: о целях и средствах освобождения масс, о взаимоотношении народа и его вождей. Но достоверно изобразив идеалы католичества, иезуитства, художник снова приписывает эти идеалы коммунизму (опять основываясь лишь на фактах, подобных нечаевщине).

Понятно, почему больше всего из Достоевского современные антикоммунисты любят роман «Бесы» и «Поэму о Великом инквизиторе». Ссылаясь почти исключительно на эти произведения, возводя в куб заблуждения художника, они и уверяют, будто нечаевщина или «великая инквизиция» есть неизбежное воплощение коммунизма вообще, как это, мол, и подтверждается культом личности.

Можно признать известное сходство между этим культом и нечаевщиной. Если отбросить мистические моменты и если учесть

^{*} Стало быть, нельзя отождествлять образ П. Верховенского даже с Нечаевым, который, между прочим, вполне искренне считал себя социалистом.

^{**} Кстати, по свидетельству А. Стиля, несколько лет назад фашисты в Алжире во время инсценировки «Бесов» приветствовали «право на бесчестье», провозглашенное героями романа.

недопустимость буквального перевода с языка образов на язык реальности, то, читая «Поэму», можно также вспомнить некоторые черты деятельности, например, Сталина, как они проявились в период культа его личности. Любопытно, что он сам однажды выразил свое сокровенное (да и не только свое) представление о богоподобном вожде: «...Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека... Принято, что... перед появлением "великого человека" члены собрания предупреждают: "тсс... тише... он идет". Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил». Когда Сталин говорил об этом (1924 г.), он восхищался скромностью Ленина. Но впоследствии он установил «необходимые правила» в отношении самого себя. Он считал, что Ленин судил о людях слишком высоко. Он захотел исправить подвиг Ленина...

Да, в известном смысле культ личности перекликается с нечаевщиной или с историей «великого инквизитора» (хотя такое сходство есть не больше чем только штрих в оценке этого сложного явления), но подлинный коммунизм — никогда, ни в коем случае!

Марксистская традиция борьбы против казарменного коммунизма

Задолго до Достоевского Маркс выступал против того грубого «коммунизма», который отрицает личность и лишь завершает буржуазную зависть и жажду нивелирования, который является «только формой проявления гнусности частной собственности» *.

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма!» — такова марксистская оценка нечаевских «основ будущего общественного строя», где люди должны «производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше» и где жестко регламентированы все личные отношения. Маркс и Энгельс характеризовали нечаевщину как апологию политического убийства, как доведенную до крайности буржуазную безнравственность **.

^{*} $\mathit{Маркс\,K}.\ u\ \mathit{Энгельс\,\Phi}.\ \mathsf{И}$ з ранних произведений. С. 587.

^{**} См.: *Маркс К. и Энгельс Ф.* Т. XIII. Ч. II. С. 622 и др.

88 Ю. Ф. КАРЯКИН

И Маркс, и Ленин резко выступали против всякого культа личности, против всяких диктаторских замашек (например, Лассаля или Троцкого, пытавшегося абсолютизировать военные методы руководства).

В своих претензиях сторонники казарменного коммунизма смешны, но, захватив даже крупицу власти, не говоря о всей власти, они становятся страшными — их фарс чреват трагедией народа.

Коммунизм подлинный отвергает иезуитский принцип «цель оправдывает средства». Нет, революция не «все равно освящает»! Марксисты признают классовое насилие, но лишь в одном случае: пока есть насильники, оно должно применяться по отношению к ним и только к ним. И это гуманно, ибо это означает освобождение подавляющего большинства от гнета ничтожного меньшинства. Без борьбы за это освобождение нет никакой свободы личности, никакого ее самоусовершенствования, а есть лишь ее распад. Неизбежные жертвы на таком пути борьбы — это не унаваживание почвы для грядущих поколений, а сам посев будущего; это не заклание баранов на алтарь неизвестному божеству, а подъем, прорыв масс, осознающих и свое рабское положение при капитализме, и свою силу, и свои идеалы; это все более свободный выбор человека, становящегося человеком. Героизм, самоотверженность в такой борьбе это не самоотрицание, а самоутверждение личности. Гуманизм целей коммунистов определяет и гуманность их средств, а иезуитство, выступающее «от имени революции» — это извращение и средств и целей борьбы. <...>

Задолго до Достоевского Маркс вскрыл антинародность попыток основать общества на чуде, тайне и обоготворении авторитета. <...> Борьба против тесно связанных тенденций казарменного коммунизма и бюрократизма — важнейшая (но мало исследованная) традиция марксизма.

Появление этих опасных тенденций Маркс объяснял материалистически: коммунизм на своей первой стадии н является таким обществом, которое развилось на своей собственной основе. Наоборот, оно только что выходит — в процессе долгих мук родов — из капитализма и поэтому во всех отношениях (в экономическом, нравственном и умственном) сохраняет еще его родимые пятна. <...>

Трудности переходного периода совсем не обязательно должны воплотиться, например, в культе личности. Культ этот объясняется (а не оправдывается!) конкретно-историческими условиями, совокупностью многих внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов, требующих особого анализа. Без учета всех этих факторов легко прийти к волюнтаристскому объяснению

истории, зато с их учетом можно правильно понять и роль отдельной личности*.

Марксизм-ленинизм не только давным-давно указал на опасность тенденций казарменного коммунизма и бюрократизма, но и открыл силу, способную их пресечь. Эта ничем не заменимая сила — стимулирование инициативы масс... <...>

«Побольше доверия к самостоятельному суждению всей массы партийных работников.. — призывал Ленин, — ...необходимо, чтобы вся партия систематически, исподволь и неуклонно воспитывала себе подходящих людей в центре, чтобы она видела перед собой, как на ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и "поражениями"... Света, побольше света!» ** Это было сказано, когда большевики находились в подполье. Насколько же это требование становится еще более настоятельным по отношению к легальным и правящим партиям! И насколько далек от него культ личности! На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущев справедливо говорил: «Люди, узурпировавшие власть, становятся неподотчетными партии, они выходят из-под ее контроля. В этом главная опасность культа личности».

Света, побольше света! — требует подлинный коммунизм. На свету все будет видно... Тьмы, побольше тьмы! — таков идеал казарменного коммунизма и бюрократизма. <...>

Культ личности связан с тенденциями грубого, казарменного коммунизма и бюрократизма. Но — в отличие от всяких антикоммунистов и ревизионистов — мы считаем, что культ этот возникает вопреки всем основным марксистко-ленинским заветам и традициям, что он является не воплощением, а извращением коммунизма, что к нему нельзя, например, свести сложную, многоплановую жизнь советского общества за все годы его существования (и даже за любой один год и день). <...>

Раздумывая над всеми этими вопросами, приходишь к решающему выводу: какой же колоссальной внутренней энергией обладает коммунизм, если даже при всех наихудших внешних и очень трудных внутренних условиях, если даже несмотря на культ личности (и вопреки ему), если даже при тяжелейших потерях он сумел не только выжить,

^{*} Именно исходя из анализа всей совокупности конкретных условий, Ленин и предлагал «обдумать способ перемещения Сталина» с поста генсека, считая, что грубость, нелояльность, властолюбие на таком посту — «...это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение» (см.: Ленин В. И. Соч. Т. 36. С. 544–546).

^{**} Ленин В. И. Соч. Т. 7. С. 99-101.

не только выиграть жестокую войну и спасти мир от фашизма, но главное — накопить огромный позитивный опыт строительства новых отношений, сумел развиться в гигантскую силу! Какие же поистине неисчерпаемые возможности развития он открывает! <...>

Коммунизм подлинный: всестороннее развитие человека как самоцель

Достоевский был прав, когда клеймил казарменный коммунизм. Он ошибался, когда уверял, будто всякий коммунизм вообще рассматривает человека как «шифтик», «клавишу», будто натура им «не берется в расчет», будто коммунизм сводится лишь к тому, чтобы «накормить людей». <...>

Но коммунизм не отвергает постановку этого вопроса, а дает решение. Конечно, коммунизм и намерен удовлетворить потребности людей в пище, в одежде и в жилище, удовлетворить в той же мере, в какой природа удовлетворяет их потребность в воздухе. Правда, состав этого «воздуха» (как и настоящего) будет бесконечно обогащаться. Но самое главное даже не в этом. Открытие и развитие особого, неповторимого призвания любого человека, постоянное взаимообогащение людей, совершенствование как способностей, так и средств для их духовного и физического наслаждения — таков коммунизм. <...>

Там же «...начинается развитие человеческой силы, которое является самоцелью...». Такой мыслью Маркс венчает свой «Капитал». Эту высшую мечту, цель целей гуманистов всех времен и народов марксизм не отбрасывает, а наследует, очищает и обогащает, а главное — изменяет социальную природу гуманизма, придает ему действенность, впервые прочно связывает идеалы с жизнью, с классовой борьбой пролетариата и всех трудящихся. <...> И снова только коммунизм дает ответ на вековечный вопрос, которым мучился Достоевский: «Мы, может быть, видим Шекспира, а он ездит в извозчиках, может быть, это Рафаэль, а он — в кузнецах, этот актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут...».

3. Религия. «Сомнения до гробовой доски»

Достоевский отвергает реальные пути борьбы с реальным злом. Где же выход? <...> Достоевский, сам выступая в роли лекаря, считает, что необходимо уповать на бога. «Человек не родится для счастья, — пишет он. — Тут нет никакой несправедливости. Страдание — таков закон нашей планеты». А раз человек страдает, «стало быть, ему Христос

нужен, а стало быть будет Христос». — Доказательства не из убедительных... И Достоевский сам чувствует это: «Мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Достоевский убежден, что разум, не освещенный любовью к человечеству, темный, бессовестный разум, — опасен, он убивает жизнь. И это очень верно. Но что же отсюда следует? Очевидно, одно: необходимо, чтобы разум был освещен светом гуманизма. Нет, отвечает Достоевский, разум по природе своей античеловечен, это дар дьявола. Не надо вкушать от древа познания. Нужна лишь вера... Вражда к буржуазно-ограниченному разуму, к науке, подчиненной бессердечному чистогану, перерастает во вражду к разуму, к науке вообще.

Художник далее задается вопросом: почему так страшно мучаются Раскольников или Иван Карамазов? <...> Воодушевление ложной идеей может атрофировать совесть, оправдать какое угодно злодеяние, отвечает Достоевский. Верно и это. Но какой ложной идеей? Оказывается — атеистической. (Все дело, мол, в вере в бога. Есть хоть капля веры — есть и совесть. Нет веры — и «все позволено», «человека можно резать», расцветает «троглодитство»). <...>

Более того. Достоевский подходит к мысли о том, что сама религия антигуманна и что этот антигуманизм ни в чем не проявляется так ярко, как в оправдании существования в мире зла. Художник придает этому вопросу очень резкую форму. <...>

Атеизм прорывается сквозь религиозные одеяния произведений Достоевского неугасимым пламенем, в котором горит ветхое тряпье религии, горит, чадя едким дымом. Погасить это пламя писатель не смог до конца жизни. <...>

Недаром, сомневаясь, что он справится с опровержением атеизма, писатель заметил: «боюсь, трепещу». Не случайно церковники сетуют на то, что Достоевский «разводнил христианство».

Ленин писал, что со словами «социализм есть моя религия» одни люди идут от религии к социализму, а другие — наоборот — от социализма к религии*. В Достоевском переплетаются и борются обе эти тенденции, но их борьба в нем осталась незавершенной.

Ныне «доводов противных» появляется все больше. Неспособность христианства понять и переделать земной мир вполне логично завершается мыслью о неизбежности светопреставления. Но не ведет ли этот смертный приговор миру к самоубийству религии? В наше время обнажается необходимость выбор: надо либо, в согласии с церковными догмами, благословлять якобы неизбежный конец мира, либо, вопреки этим догмам, отбросить апокалипсис — один из краеугольных

^{*} См.: Ленин В. И. Соч. Т. 15. С. 378.

камней религии, и бороться за улучшение и сохранение земной жизни. Миллионы верующих избирают второй путь. <...>

И прав не тот Достоевский, который уверял, будто «хрустальный дворец» невозможен, будто коммунизм — это вавилонская башня. Прав тот, который изредка задумывался над тем, что и «фабрики-то, может, нечего бояться — может фабрика-то среди садов устроится. ...Я не знаю, как все это будет, но это сбудется. Сад будет». В его мрачных книгах порой сверкает мысль о том, что «люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей».

4. «Pro и contra»

Битва идей

«Рго и contra» — так называется центральная книга «Братьев Карамазовых», и это — символ всего творчества художника, символ всех его исканий. < ... >

Достоевский сам желал быть «пророком» в буквальном, т.е. религиозном смысле этого слова, и многие из его поклонников объявили и объявляют его таким «пророком». В лучшем случае это красивая фраза. Те предвидения Достоевского, которые сбылись, объясняются не мистически, а рационально. Если, с одной стороны, Достоевский сознательно ставил перед собой цель — художественно предвосхитить будущее, то, с другой стороны, в его эпоху завязывалась та идейная борьба, которая предшествовала открытому столкновению различных социальных сил, достигшему в наше время своего зенита. И именно сегодня, когда явления, схваченные им в зародыше, развились, можно глубже, критичнее понять и его самого.

Он все время спорит. Заставляет говорить своих сторонников и противников, вмешивается в спор, незаметно вклинивая в мысли самых различных героев свои собственные мысли. Отсюда у Достоевского то, что в критической литературе именуется полифоничностью. Его очень лирические романы стали и «великолепно обставленными диалогами» (Луначарский), драмами, вернее трагедиями, построенными по законам сцены; это одновременно идейные исповеди, проповеди и завещания. <...>

Взяв какую-либо мысль, он стремится выявить отношение к ней со стороны всех возможных сторонников и противников ее (хотя это ему не всегда удается). Такой метод может родить движение, развитие идей, может заставить их жить, но может и окарикатурить их. Этот метод сулил гениальные открытия, и Достоевский совершал их. Но в то же

самое время у него встречаются «страшные натяжки» (Горький). Его реалистическое искусство разъедается субъективизмом.

Прозрения и заблуждения Достоевского имеют особое значение сегодня, когда наука и искусство, сама жизнь подвели человечество к вопросу: если из обычной, «мертвой» материи возможно высечь неиссякаемую внутриядерную энергию, то какие силы таятся в человеке? Достоевский построил свою установку для изучения этих сил, для экспериментирования над ними. Его произведения, несмотря на все внешние, старомодные атрибуты 19 века, напоминают мощный ускоритель, где с огромным напряжением движутся и сталкиваются человеческие страсти, обнаруживая свою природу, развертываясь бесконечным числом новых сторон. Сам же Достоевский похож на человека, открывшего внутриатомную энергию и убежденного в том, что не может быть никакого ее мирного использования, а потому и чувствующего себя преступником.

Верность знамени чести и боязнь прослыть доносчиком

В черновиках Достоевского записано: «Идея о том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести». <...>

Он боялся прослыть доносчиком, но не мог и не чувствовать, что идейная травля революционеров, в чьей преданности интересам народа он не сомневался, это тоже донос, духовный донос, т.е. бесчестье. Недавно Ж.-П. Сартр заявил: Флобер несет прямую ответственность за репрессии над коммунарами 1817 г. потому, что, будучи Флобером, не написал ни строчки против этих репрессий. Это тем более относится к Достоевскому. И религиозность была для него, помимо всего прочего, попыткой успокоить свою больную совесть: он утешал себя тем, что стоит за абсолютное освобождение народа от сил зла, — разве, мол, с этим идеалом может сравниться идеал социалистов? Но он не смог добиться успокоения. <...>

А сколько людей с больной совестью порождает сегодня капитализм! Но излечение застарелой болезни не может больше затягиваться. В борьбе за жизнь всего человечества честь, нравственная бескомпромиссность людей — одна из решающих сил. <...> «Самая выгодная выгода» для них заключается не в злобном своеволии, как утверждает «человек из подполья», а в установлении «истинно человеческих отношений» (Маркс). Стало быть, тем более необходимым является коммунизм — уже не просто в интересах коренного улучшения жизни, но и для ее спасения.

Человечеству необходимо трезвое осознание всех опасностей, подстерегающих его, и вместе с тем твердая уверенность в своих силах.

Время смертельной угрозы роду человеческому — это и время невиданных подвигов — массовых и личных, время небывалого расцвета всего лучшего, что есть в людях. Достоевский и сегодня помогает будить их совесть, но Достоевский же содействует появлению истериков и ренегатов: в нем есть нечто такое, что притупляет социальную остроту его произведений, что не возвышает, а принижает человека и что является ныне, как никогда, опасным, — «достоевщина».

Достоевский и «достоевщина»

Кажется, на всех своих фотографиях, портретах, а особенно в проникновенном скульптурном изображении С. Коненкова, Достоевский предстает как узник собственных противоречий, как человек, которого просто невозможно представить себе смеющимся (хотя иногда на лице его промелькиет горькая или желчная усмешка). Тем более контрастно и, вероятно, неожиданно звучит такое признание Достоевского: «...несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь... Вот главная черта моего характера; может быть и деятельности». (Насколько же искажают облик Достоевского экзистенциалисты вроде Камю или Бердяева, ведущие от него свою родословную!) <...> И как был изломан человек с такой исступленной, уитменовской жаждой жизни!

Трудно, просто невозможно найти художника более противоречивого, чем Достоевский. Жертва самодержавия, он стал его апологетом, апологетом палача. Часто он сам, начиная от безграничной свободы, переходит к безграничному деспотизму: в условиях самого дикого гнета раздался его призыв — «Смирись, гордый человек!». Искренний враг буржуазии, он ищет спасения в религии, объективно закрепляющей господство той же самой буржуазии. — Из огня да в полымя...

Судьба человечестве переживается им как собственная судьба. Ему свойственна «всемирная отзывчивость». Меньше чем на всеобщее счастье он не согласен. Он чувствует свою сопричастность со всеми людьми, ответственность за них, и он хочет внушить эту мысль каждому человеку. Но она, эта глубоко гуманная мысль художника, бессильна. Она не оплодотворена идеей борьбы. Ей так не хватает мужества! Того мужества, которое вдыхают в людей другие художники — Уитмен и Горький, Роллан и Маяковский, Шолохов и Хемингуэй.

Достоевский сигнализировал людям о многих реальных угрозах, но не в силах был указать путь спасения ни от одной из них. Многие вопросы он поставил, но ни одного не решил. Словно он будил людей для того, чтобы тут же их запугать и запутать. Его метко называли то жестоким талантом, то злым гением. Вера в человека и полнейшее

его развенчание; бунт и смирение; стремление немедленно, сию секунду помочь чем-то народу, а вместо этого — откладывание помощи до второго пришествия Христа; использование истины социализма (т.е. прежде всего его критики капиталистического строя) и одновременно — повторение буржуазной и царистской лжи о социализме как «повсеместном грабеже»; благородные призывы к братству всех народой и отвратительная проповедь шовинизма, религиозная нетерпимость; христианство — то как антитеза социализму, то как его осуществление (своеобразный христианский социализм); мечта о достижении рая на земле и апокалипсические видения; церковник и атеист; человек «со святым и преступным ликом» (Т. Манн); «натура о двух безднах» — таков действительный Достоевский. Правда и ложь здесь не механически сосуществуют, а именно спутаны, слиты, сплавлены.

«Достоевщина» — это не само внимание к миру «двойника», «подпольного человека», «мерзавца». Дело здесь не в объекте изучения, а в его понимании, в его оценке. «Достоевщина» — это культ страдания, наслаждение им, это — юродство, лживая мысль о том, что все люди — «из подполья», что все они, если покопаться, — «дрянь», это — смакование уродства и подлости, это — больная совесть человека, утешающегося тем, что якобы вообще нет людей с чистой совестью, это — ковыряние ран и посыпание их солью вместо излечения, это — болезненная тяга к изображению больных сторон жизни. «Достоевщина» у Достоевского проявляется так же, как психическая болезнь у психиатра. И «нужна колоссальной мощности натура, я бы сказал, теперешняя наша пролетарская натура, чтобы выпить такое ядовитое зелье, как Достоевский, и от этого сделаться еще здоровее, а для людей не этого типа Достоевский действительно отрава» (Луначарский).

Ленин предупреждал от «архискверного подражания архискверному Достоевскому», и он же, как никто другой, понимал, что нельзя «разделаться» с Достоевским одним словом — «достоевщина». Так, по воспоминания Бонч-Бруевича, «беспощадно осуждал Владимир Ильич реакционные тенденции творчества Достоевского... Вместе с тем, Владимир Ильич не раз говорил, что Достоевский действительно гениальный писатель, рассматривавший больные стороны современного ему общества, что у него много противоречий, изломов, но одновременно — и живые картины действительности». Ленин поддерживал Горького, когда тот протестовал против инсценировки «Бесов». И Ленин же предлагал поставить памятник художнику Достоевскому.

Замечательно также, что такие марксисты, как Р. Люксембург и А. Грамши, специально изучали художественное мастерство Достоевского и высказывали о нем очень глубокие и тонкие суждения.

* * *

Великие мыслители-идеалисты или художники типа Достоевского смотрят на явления жизни как бы в мощный микроскоп, который хотя и обнаруживает в этих явлениях много ценного, одновременно и преломляет, искажает их. Но марксизм позволяет найти коэффициент такого преломления для того, чтобы *использовать* объективно ценные результаты, добытые этими мыслителями и художниками, использовать *против* их заблуждений и против всякой спекуляции на этих заблуждениях. Сделать это, конечно, очень трудно. Гораздо труднее, чем просто сжечь их бумаги и разбить их аппаратуру...

Усилиями исследователей разных стран создана прочная традиция борьбы за гуманизм Достоевского и против «достоевщины». «Коэффициент преломления» вычисляется здесь все более точно.

Вот почему, когда идет острый разговор на современные темы и когда наши идейные противники выдвигают аргументы от Достоевского (или какие-либо другие доводы), у нас есть чем им ответить, но еще больше — о чем их спросить.

